

ИРОСА

А.Петряков

С Л Е Д Ы Н А С Н Е Г У

Следы на белом все-таки белы
и хруст бесцветен, как дыхание.
В снегах как будто играны балы
при неподвижном света колыбани.

Я никогда не любил музыки, она для меня всегда оставалась за пределами понимаемых, может, превратно, земных утех. Что могло остаться в памяти после прослушанной симфонии Бетховена? Звуки. Мелодия. Их можно потом воспроизвести в памяти, как на магнитофоне, но устройство моей души таково, что звуки были в голове сами по себе, а душа не долговала. Она понимала явленное глазу, а не уху. Живопись другое дело. Тут я был в ней, растекался по холсту и внимал мазку и линии сосредоточенно и чутко, властвуя душой и мыслью в организованном художником пространстве. Оно волновало меня, как и настоящая жизнь, тут я находил покой и радость и любовь, для меня возникал и благоустроенный дом с любезными домохозяйками, и мечты о самом лучшем, чего все же не хватало, но мы так привыкли к тому, что искусство способно заменить нам многое, а для многих и все, благо, что мечта вписывалась в реальность художничьего вымысла дополнением и усовершенствованием желанием быть еще более кажущимся, чем само мной раз представлялось. Да что! Кому не казалось иной раз, что живет в другом месте и совсем по-другому, чем на самом деле, и вовсе даже не так, как в своих же мечтах представляется! Если не выходить за пределы вымысла, жить можно, и даже все равно где, правда, не все равно с кем. Домысли. Пути сознания. Чувств души правда.

Так я не любил музыки. Ни теперь, ни прежде. Правда, теперь уже по иным причинам, нежели прежде, об этом и расскажу.

В тот день погода была хорошей. Ни дождя, ни ветра. Красивые холодные облака тихо стояли у края горизонта и светились белыми округлостями в лучах светила. Был день. Лето. Что заставило меня выйти в этот день на прогулку в неурочное время, уже не припомню, верней всего семейные неурядицы, просто измучившие в последнее время. Я сел в автобус, чтобы отъехать подальше и вышел на конечной остановке. Многоэтажные жилые дома являли собой последний форпост города, за которым лежало поле и дальше лес, предваряемый канавами с мелким кустарником. Я прошел все поле, посидел на обочине канавы, прилеп, разувшись, под кустик и задремал. Мне приснилась музыка, да, какие-то звуки, шедшие издали и наполнявшие ухо невнятной разноголосицей оркестра. Звуки были только в определенном пространстве, наполняли его не во всем объеме, может поэтому мелодия едва угадывалась, терялась в углах какой-то комнаты, где кроме музыки, казалось, никого и ничего нет; да и комната была условной, скорее вымысел помещения, сон, как во сне и бывает...

.. Когда проснулся, наступали уже сумерки, летние, мягкие, до захода было еще далеко, солнце пряталось за длинными тучами, узкими, летящими вдоль горизонта, фиолетовыми, цвета блеклых чернил, так что вечер был хоть и пасмурный, но светлый. Я полежал еще немного на животе, покусал травинки и потом, приподнявшись на локтях, узред узкую тропинку, бегущую к видневшемуся неподалеку хуторку в два-три дома. По тропинке, не торопясь, шел худенький мальчик лет четырнадцати с удочками на плече и тихонько насвистывал чудную мелодию, легкую и приятную, похожую на лютневые напевы средневековья; вот, подумал я, он, наверное, и насвистал мне сон. Я встал, походил немного, чтобы размяться и решил было вернуться домой, но что-то меня подтолкнуло продолжить прогулку, и я двинулся по этой тропинке вслед за мальчиком, — впрочем, он уже дошел до домов и скрылся, а я, ведомый мыслью подкрепиться на хуторке молоком, быстро подходил к домам; хуторок оказался тихим, никаких скрипов, мычания, блеяния и прочих деревенских звуков не было. Я подумал, что это стран-

но, ведь уже вечер, должны быть все дома, — и люди, и скотина. Подойдя ближе, с удовольствием увидел ухоженные палисадники перед домами, опрятные домики свежевыкрашены, калитки почему-то открыты, а дорожки, дорожки вели к домам и выложены из кирпича, но так невозможно заросли высокой травой, что я усомнился, живут ли тут. Пройдя в дальний от других, третий двор, я постучал тихонько косточкой пальца в дверь и услышал глухое старческое бормотание, что могло сойти и за приглашение войти, и, дернув дверь, я очутился в светлой и чистой комнате, прибранной как к празднику. За накрытым чистой скатертью и пустым столом сидел старик лет восьмидесяти и смотрел на меня в диком изумлении. Для него, похоже, мой приход означал чуть ли не чудо. Я поздоровался, но никакого ответа на мое приветствие не последовало, старик все так же ошалело на меня взирал, и я решил за лучшее присесть к нему за стол, но он отшатнулся и полез на печь. Никакого слова я от него так и не добился, несмотря на все попытки. Особо, конечно, я не настаивал, понимая уже кое-что, хотя и вру, что понимаю. Вышел от старика и, сминая высокую, выросшую на дорожках траву, шагнул на улицу. Деревянные столбы стояли без проводов, и тут я начал кое-что вспоминать, но так и не вспомнил, скорей всего это была какая-нибудь ассоциация с чем-то читанным или виденным в кино, вообще, что-то невзаправдашнее, вымышленное.

Подойдя к следующему дому я прежде всего увидел, что ставни закрыты, дорожка, хоть и заросла, но не очень, видно было, что по ней кто-то иногда ходит. Пройдя в открытую калитку, я услышал из-за ставен давящий свист и обрадовался. Постучал. Прежнее насвистыванье продолжалось, а приглашения войти не было. Тогда я еще раз постучал уже настойчивее. И вновь тихая мелодия плыла мне в уши. Что же, подумал я, может это такое своеобразное приглашение, и вошел. Тут вообще никого не было, и откуда доносился свист было непонятно. Осмотревшись, я обнаружил выключатель и включил свет, потому что из-за ставен, закрытых, было темновато. Дом был пуст, а откуда доносился свист, я так и не понял. Пройдя в

другую половину дома, где обычно бывает хлев, я и вправду обнаружил корову, мерно жующую, как ей и подобает. Что ж, хоть корова. Но не она же так бесподобно свищет? Точно не она. Она жует и при этом сопит своим великолепным смуглым носом. Люблю коров, меня влечет их удивительно мягкий нрав, незлобивость, мягкой печали глаза, да и молоко я тоже очень люблю. Тем не менее доить ее не решился. Да и смешно было бы застать меня за этим занятием.

Итак, оставался третий дом. Прежде чем туда двинуться, решил немного посидеть у второго на лавочке и выкурить сигарету под художественный свист, который, казалося, все же доносился из-за стайен... Сидя на лавочке под домом, я размышлял о таких вот деревенских самородках, часто так вся жизнь и просвиставших соловьем на сельских просторах, не подозревая о своем непревзойденном музыкальном таланте. А уж этот был просто превосходен.

Где-то надо мной открылось окно и мальчишеский голос спросил:

— Дядя, вам кого?

Я привстал и глянул наверх. Из узкого чердачного окошка смотрело загорелое, добродушное и мягкое с правильными чертами мальчишеское лицо. Я улыбнулся и ответил:

— Я, собственно, так, гулял, хотел молочка попросить...

— А... — протянул мальчик, — тут таких много ходит с тех пор как домов этих понастроили, только мы никому не даем, так можно все молоко каждый день даром раздаривать.

— Ну что ж, — согласился я, — это правильно. Можно и не молока, если есть водичка, то и хорошо..., — я отчего-то запинаясь и говорил не совсем правильно, чтобы попасть в тон мальчишке, но чувствовал, что мне это не удастся. Тогда я еще раз улыбнулся и попросил:

— Может, ты спустишься?

— Ладно.

Через минуту я пил холодную колодезную воду.

— Это ты свистел?

— Да, — просто ответил он и повернулся в сторону того

дома, где я обнаружил старика. Когда я спросил о нем, мальчик криво усмехнулся и ничего не сказал. Минут пять мы молчали, а потом он кивнул в ту сторону и сказал, что это его дед, цыхопат и дурак, день-деньской сидит и ничего не делает, даже и не ест ничего.

Я осмотрел двор и полисадник и не обнаружил никаких свойственных деревне предметов: ни ведер, ни лопат, ни корыт и всего прочего; только колодец одиноко торчал островерхой крышей посреди двора, да и к нему не вело никакой дорожки, он стоял на лужайке, и не похоже было, что к нему кто-нибудь в течение лета подходил. Я обратил на это внимание мальчика, а он также криво усмехнулся и ничего не ответил.

— А вы разве тут с дедом одни живете? А мать твоя где?

— Придет скоро, — лаконично произнес мальчик и пристально глянул мне в глаза, — хотите, — прибавил он неожиданно, — я вам на скрипке сыграю?

— У тебя есть скрипка?

— У деда. Если даст, сыграю.

Мы пошли в сторону первого дома, и при этом я обратил внимание, что трава под ногами мальчика не мнется, а стоит также прямо, как будто на нее и не наступают чьи-то ноги.

Старика в доме не оказалось. Мальчик его несколько раз окликнул "дедом", но ответа не последовало. Я подсказал, что от меня он нырнул на печку, но и там его не было.

Ушел, стало быть, резюмировал юноша и вытащил из-под лавки завернутую в бумагу скрипку. Он бережно развернул инструмент, и я ахнул. Скрипка была удивительно дивной работы. Новая, как ни странно. Если бы она была старой, я поручился бы, что это Гварнери или Страдивари, но от инструмента, казалось, исходит запах свежего лака.

— Пойдем, — сказал мальчик.

Мы вошли в сени, и он полез по скрипучей стремянке вверх.

— Лезьте за мной, — скомандовал он.

Делать нечего. Мы забрались на чердак, где было даже уютно: старый сундук накрыт был затейливого тканья скатер-

тью и на ней стоял глиняный кувшин с ромашками, маленькое окошко освещало этот простой натюрморт с таким тщанием, что это было хоть и в натуре, я подумал: а уж не Вермеер ли тут руку приложил?

Под ногами шуршал шлак, насыпанный на полу чердака, напротив сундука, под стропилами, стояла скамейка. Я сел на нее. А мальчик встал с правой стороны окошка и заиграл.

Как рассказать эту музыку? Она была древняя, вещая, непридуманная. Мелодии как таковой не было, слышался то смех или плач, то простой рассказ о цветах и воде, их дружбе и размождках, о шуме деревьев в лесу, песни ветра, птичьих баллад о далеких перелетах, шепоты мха, сиянье листа под солнцем; оно само, кажущееся высоким и недоступным, ныряло в уши легким светлячком, неприятно повествующим о своем житье-бытье и высоких температурах. И чем дальше, тем увлекательней шел рассказ о вершинах и высотах, их одинокой гордости и всезнании, странных уроках добра, ищущего себя повсюду, и пустые пространства одиночества точными оводами звуков вписывались в картину недостроенного еще мироздания, куда стремились новые ноты пока еще в хаосе, свежие, недоступные, сверкающие бесцветными гранями, чуждые порядку и одинокие.

Когда мальчик закончил свой маленький концерт, я еще долго сидел и переосмысливал услышанное. Это не было похоже на музыку в общепринятом смысле: тут не было ухищрений сочинительства, так называемого искусства композиции с предустановленной гармонией, контрапунктом и прочим умышленным соответствием благородному вкусу и воспитанию. Увы, простота была такой явной и непридуманной, что профессионал отверг бы ее с первой же ноты. Я, как было сказано, не любил музыки именно по причине предпочтения глазу уха, тут увидел, зримо услышал, если можно так сказать, живопись, подлинность и вымысел сочетались в ней органично и неуловимо, внутренняя связь была так крепка и органична, что, казалось, никакому бесстыжему времени ее не разъять, оно, это звучание, было, есть и будет всегда, каким бы ухищрением души и политики че-

ловек ни предавался...

.. Мальчик, отыграв свое или не свое сочинение, присел рядом со мной на сундук и с непринужденной легкостью стал играть моими волосами, отчего мне стало как-то неловко и я отодвинулся. Хороша ли была музыка, спросил мой музыкант? Можно было и так подумать, но он молчал, а я начал говорить о его очевидном таланте и стал расспрашивать, откуда он знает эту музыку, сам ли сочинил или кто его научил так играть, уж теперь и не припомню точно, что я у него выспрашивал. Но юноша тихонько гладил меня по голове, словно успокаивал и просил не говорить. Я замолчал. Мы просидели на чердаке еще долго, до того, как внизу что-то грохнуло, потом послышалось мычание и затем мы явственно уловили под собой поскрипыванье ручки ведра и стук раздвоенных копыт переминающейся в хлеву коровы, и звенящий звук струи молока о подойник.

— Мама пришла, — сказал мальчик.

Мы спустились, стараясь не шуметь, вниз и на заросшем травой дворе стали прощаться. Из двери выглянула молодая еще совсем женщина, даже трудно было поверить, что она мать такого взрослого сына, и крикнула:

— Кто это тут опять с тобой?—

— Никто, — ответил мальчик, — откуда я знаю, ходят тут всякие, молочка просят.

— А ты на скрипочке им наигрываешь. И когда только за ум возьмешься, хоть бы кто влияние оказал на тебя, дурня. Так всю жизнь и просвистишь.

.. Женщина еще некоторое время бранилась, потом хлопнула дверью и ушла. Тем временем небо стало темнеть прямо на глазах, и вот капнула одна капля, другая, и — хлынул такой ливень, что пришлось нам забежать в дом, где женщина разливала молоко по банкам и бутылкам. Она молчала, мы тоже. Слушали, как шумит за окном дождь и тихонько сидели на лавке. Мальчик стал насвистывать. Мелодии не было, но что-то знакомое повторялось несколько раз; я напряг память, но ничего не вспомнил, скорее всего походило на Стравинского, но так, очень отдаленно. Женщина покосилась в нашу сторону и ничего не сказала. Я вновь попытался заговорить и выяснить все же,

откуда у мальчика такой дар, кто его учил. Но он опять погладил меня по голове и затих.

Женщина поставила на стол сковороду с жареной картошкой и банку с молоком.

— Поешь, свистун, — сказала она, — да и вы, не знаю как вас, тоже поешьте, вишь как хлещет, не скоро, видать, и пройдет. . .

.. Мы подсели к столу и стали есть картошку прямо из сковороды, запивая молоком. Было очень вкусно и я похвалил еду и хозяйку. Ей это понравилось и она разговорилась. Повела о своем житье-бытье. Когда же узнала, что я имею некоторое отношение к музыке, так и вовсе растаяла и стала умолять меня найти ее мальчишке хоть какое-нибудь применение, пусть, говорила она, хоть где-нибудь за кулисами на дудочке играет. Я пообещал кое-что сделать, тем более, одаренность ее отпрыска говорила сама за себя. Учиться, сказал, учиться ему необходимо вначале, а уж потом... Мы и не заметили за разговором, как в избу вошел давешний дед и попятился, увидев меня.

— Ну ты что, блажной, — приветствовала его мать мальчика, — хорошего человека испугался.

Дед робко, бочком, подошел к столу, сел, налил молока в миску, накрошил туда хлеба и стал хлебать, брызгая при этом вокруг себя сверх всякой мочи. Потом, он опять же бочком, мелким шагом подошел к лавке, взял скрипочку и, грозя мальчику пальцем, удалился.

— Вот шут-то, вот шут гороховый, — сказала женщина, — это он Сережку и совращает, он его и научил пикиать да свистать.

— А почему, — спросил я, — он в другой избе живет?

— Он всегда там живет, блажной.

— А в третьей кто?

— Никто. Пустая.

Дождь уже кончился и я засобирался, — было уже поздно, за окном стемнело. Пообещав прийти еще, я ушел.

За дедами и хлопотами, неотложными, казалось, важными, протекали день за днем, месяц за месяцем, и я, помня свое обещание, все откладывал визит на хуторок, и уже наступили холода и первый снег стал дожиться на влажную еще землю, когда после крупной ссоры дома, отправился в холодный воскресный ноябрьский день к моим знакомым.

Дома застал не всех, Мальчика, Сережи, не было. На работе, объяснила мать. Ведь выходной, сказал я, как же на работе. А так он, ответила она, у меня теперь по скользящему графику на хлебозаводе работает, сухари грузит. Сухари, объяснила она, полегче, он же еще несовершеннолетний. Мы посидели немного и поговорили, но все больше так, о пустяшных мелочах, дожидаясь прихода Сережи. Женщина между тем, а звали ее Наташей, два раза выходила из комнаты и возвращалась в новом платье и с подведенными глазами, — видно, я ей приглянулся, а может хотела пристроить все-таки сыночка к музыке, об этом она уже раз пять успела обмолвиться. Я же утвердительно всякий раз поддакивал. Да и надо сказать, мне было ~~принципиально~~ неприятно, что молодой человек таскает сухари вместо того, чтобы совершенствовать свой музыкальный дар. И кроме того, глядя на молодое, ясноглазое лицо его матери, сравнивая его с таким ненавистно известным, повседневно мерзким и хулу извергающим, — понимаете, о ком ~~идет~~ речь, находил в Наташе я прелести изрядного свойства и достоинства, о которых пока умолчу...

Тут ненароком мне напомнили, что третья-то изба совсем и вовсе пустая, так что... Вот это мысль просто потрясающая! И она таким ярким светом вспыхнула в сознании, что тотчас же пошел домой, собрал необходимые рубашки и майки и все прочее, включая бритву и домашние туфли, и прямо с чемоданом заявился спустя пару часов к ним же, намереваясь занять свободный дом.

Сережа был уже дома и сидел, развалился, на скамейке. Меня он встретил ленивым взглядом и даже не встал. Устал, объяснил он, ящики таскать. Я бодро и весело сообщил им,

что собираюсь на время занять свободный дом, на что Наташа ласково улыбнулась и пригласила идти за собой, чтобы сам осмотрел и показать, где что лежит, да и протопить тоже не мешает, холода пришли.

Дом мне понравился. Больше всего большая русская печь, на которой, после того как протопили, можно было лежать, ощущая спиной и боками блаженное тепло.

Я прожил там с большим для себя удовольствием до весны, да, всю осень и зиму и, может, остался бы там и дольше, если бы... Но все по порядку.

Что и говорить, с Наташей мы быстро нашли общий язык, да и спальное место часто было общим, так что... А вот с мальчиком и дедом все оказалось сложнее. Наташа по простоте душевной рассказала мне всю их, если можно так выразиться, родословную, странноватую надо сказать. Забеременела она в четырнадцать лет прямо можно сказать от пустяка, она в этом клядась, — так вот тут неподалеку, где теперь наши дома-мастодонты стоят, была деревня большая и рядом с домами, конюшни стояли и поле с овсом, а лошади ведь большие до овса охотники. И охранял поле горбатый такой мужичок, не старый еще, лет под сорок, а я, рассказывала Наташа, часто туда к отцу бегаю, он у меня конюхом работал, и вот через поле это каждый день с обедом в узелке бегала. Этот сторож-то горбатый иной раз и схватит в охапку, потискает, да и больше ничего. Но раз он меня на землю уронил, пристраиваться начал, да я испугалась, не захотела, конечно, ну а с него вроде как и капнуло, не обратила я тогда на это внимания, а как была девкой, так и осталась, да только понесла. Вот и говорят, что непорочного зачатия не бывает, бывает, вишь и Сережка мой от этого дела уродился. Когда мать-то с отцом узнали, так допытываться начали, я и сказала. Мужичок-то горбатый, хоть и холостой был, да не захотели меня за него отдавать. Так что я к нему уже после материнной смерти перешла жить сюда, Сережке уже восьмой год шел. Да и он, отец-то Сергея, долго не прожил. Год всего

как и помаялась я с ним, а ведь хороший мужик оказался. Дед-то ему отцом приходится, а тут, в этой избе, где ты, раньше его родной брат жил, книжнич, все читал целыми днями, а потом пропал куда-то. Всея деревней искали, в розыск подали, так и не нашли. С той поры дед-то наш блажной стал, сидит у себя по целым дням и никуда не выходит, даже есть приходит не каждый день.

— А откуда у него скрипка? — спросил я.

— Не знаю, — простодушно ответила Наташа, зевнула и положила на меня полную ногу.

Я был постоянно занят и с мальчиком виделся редко и, по совести, не занимался с ним ничем. Наступила зима. Сережа почему-то уволился с хлебозавода, не подавил, говорит, с начальством, я тоже обленился и по целым дням лежал на печке и дожидаясь Наташи. В один из таких дней я попросил его поиграть. Он мигом полетел к деду и тотчас явился со скрипкой. Я взял инструмент в руки и был почти до ужаса поражен клеймом с именем Страдивари! Но. Но! Скрипка была совершенно новая, как будто только вчера вышла из мастерской. Я внимательно осмотрел ее еще раз и убедился, что скрипка настоящая, подлинная, но как она могла так хорошо сохраниться, какие средства консервации применялись, да и возможны ли они, — ведь, похоже инструментом вообще не пользовались, — ни царапин, ни потертостей, а ведь играл же на ней мальчик и лежит она у них где-то под лавкой, ведь не может же такого быть! Я был в некотором смятении, но все же передал мальчику скрипку, и он заиграл.

Как и в первый раз меня поразило естество звучания самой природы, что ли, не было тут никаких надуманностей, правда, часто казалось, что звуков иных в природе и нет вовсе, — такие они были совсем чистые, прозрачные, бестелесные, отчего шли прямо вверх, испарялись безвозвратно в ясном небе, похожем уже на пустую абстракцию, и все выше, выше выше в каком-то одержимом стремлении неслись они к явной, но невидимой цели.

Когда говорят о реализме и так называемом чистом ис-

кусстве, я удивляюсь спорам на эту тему и надуанным противоречиям. Конечно, можно чистое определить так: прекрасная форма с чистым, но малым количеством содержания /изысканный сосуд с каплей благородного вина на доньшке/. Реализм — пухнущее на дрожжах действительности тесто в необожженном горшке. Ничего бессодержательного не бывает, любая форма чем-нибудь да заполнена, даже если и пустотой, то и она сойдет за содержание. Да и кроме того, всякий выбирает достоверность себе по вкусу, поверьте мне, это так. Для писателя все наблюдаемое — литературный факт, сознательно или бессознательно облеченный формой его вкуса, музыканта в окружающем мире интересуют больше звуки, инженер, наблюдая полет птицы или ползающего червя, делает аналогии в создаваемых машинах и так далее. Да и безотносительно профессий каждый видит каплю воды по-своему, как и вкус хлеба для разных людей разный...

Я записал нотами все, что играл Сергей и потом попросил его повторить хотя бы часть уже сыгранного; увы, сделать он этого не смог, хотя очень старался. Тогда я стал объяснять ему ноты. Из этого тоже ничего не вышло, так как он не мог понять, что значки на бумаге и есть застывшие звуки, которые можно заставить звучать в любой момент. Для него музыка была в самом звучании. Тогда я задал ему такой вопрос: ведь прежде чем извлечь музыку из скрипки, ты ее придумываешь в голове, там она у тебя может храниться и иной раз долго, так же и тут, на бумаге. Это память. Он не согласился и сказал, что как только к нему приходит музыка, он ее тотчас же высвистывает или проигрывает на этом дедовском инструменте. Я спросил, откуда у деда появилась эта скрипка. Мальчик не знал, да и откуда он мог знать, если старик лет двадцать вообще ни с кем не разговаривает. Я спросил: а дед играет? Мальчик закивал головой и поднял кверху большой палец, что означало одобрение. — А послушать можно? — Сережа, покрутил головой и ответил: с чердака если только, да и редко он теперь пикирует. На этом наш первый урок закончился. Я твердо решил послушать старика и при случае попытаться с ним изъясниться, — тайна Страдивари схватила меня за горло.

Утром шел снег, уже крупный, серьезный, по первому заморозку. Видно он шел уже ночью, — вокруг дома и на дороге лежал уже толстый ватный покров и не оставлял на себе, как еще вчера, влажных прогалин, — теперь он был ровный и опрятный. Только пруд чернел посреди белизны, да деревья графически коряво вписывались в пейзаж.

Я стоял у окна и поливал цветы, делать мне ничего не хотелось, и необходимость сегодня идти на службу раздражала. Я сел у окна на лавку и стал бездумно созерцать медленно идущий снег. По дальней дороге медленно двигались темные продолговатые грузовики и почти не видные в снегу легковые.

И тут прямо под окном, словно из-под земли взялся, прошел старик, дядя Сергея. Он шел еле-еле, как в замедленной съемке, и когда он прошел — таки мимо окна и стал удаляться к своему дому, я со страхом заметил, что следов — то, следов не было! Он не оставлял за собой на снегу никаких следов! Что за странности! Иль мне это примерещилось? Я тут же принял решение идти к старику и объясниться. Когда подошел к его дому, следов никаких я также не обнаружил, так что, если забыть давешнее видение, то можно было и предположить, что он из дома сегодня не выходил.

На мой стук никто не отозвался, но я смело открыл дверь и вошел. Пусто. Старика нигде не было, а ведь я четко видел, что он шел к своему дому, хоть и не оставил за собой никаких следов; вспомнив и про свои следы, я — выскочил и установился на отпечатки своих ботинок, слава Богу, я — то телецен, я — то еще человек. Стало быть, примерещилось, решил я и двинулся от дома. Но тут откуда-то сверху полилась нестройная оркестровая музыка. Оркестр небольшой, инструментов десять, не больше, в основном струнные, ну да, два альты, три скрипки, кларнет, трубы и виолончель. Я подумал было, что это радио, но тут же рассмеялся, — ведь не будут же репетицию по радио транслировать, а это была как раз редетация. Инструменты звучали не в строе, солировали сразу два или три разных, да и звучание всех их, за исключением скрипки, было какое-то фальшивое, неестественное.

Объяснение этому я нашел и вполне верное, когда поднялся потихоньку на чердак и заглянул в щелочку привязанной бечевкой изнутри двери. Старик играл на скрипке и при этом изображал голосом, голосом! то трубу, то кларнет. Словно заглянув в некое сокровенное, скрытое и до того недоступное, я рассмеялся. Старик тотчас перестал играть и оглянулся на дверь. Скрываться больше не имело смысла. Попросил его отвязать бечевку и впустить меня. Послышался старческий шаркающий шаг и через минуту мы стояли на пороге чердачной двери друг против друга. Глаза у него совсем бесцветные, как вода, и ничегошеньки не выражали; было в них некое удивление, смешанное со страхом, но само лицо, светлое, чистое и вдохновенное поражало исходящим от него светом, так что и глаза обретали некий смысл света, несмотря на утаивающийся страх.

Что же было мне сказать ему? Спросить о чем-нибудь? Назваться и разговориться на тему музыки? Да он и... Впрочем, движением руки он указывает мне на дверь и... о Боже, говорит, говорит...

— Если бы Вы смогли дождаться конца моих занятий, я ответил бы на ваши вопросы.

Чердачная дощатая дверь перед моим носом закрылась. Я уселся на ступеньки и стал дожидаться конца репетиции. Странная нестройная музыка еще некоторое время раздавалась на чердаке, потом как-то постепенно сошла на нет, стихла, и я даже не заметил этого момента, упустил. Когда же бросился к двери и приткнулся к щели, старика уже не было. Испарился, исчез. Но как? Через слуховое окно? Я дернул покрепче чердачную дверь, чтоб разорвать веревочку, — она треснула, распалась. Я обшарил внимательно весь чердак, но никаких признаков его пребывания не обнаружил. Потрогал раму окна, догадался, что она глухая, не открывается, так что этим путем дед также не мог ускользнуть. Я сел на сундук и задумался. Мне отчего-то стало теперь уже казаться, что все тут происходящее несколько повлияло на мою психику, и недалеко тот час, когда меня найдут, если захотят, мои родственники имен-

в психиатричке, а не на этом хуторе, да и кто знает, размышляя я, не комфортабельный ли это филиал дурдома?

За эти дни невеселыми размышлениями и застал меня старик. Он преспокойно вошел в дверь и сказал:

— Извините, что заставил вас ждать. Отлучился по делу, и теперь весь к вашим услугам.

Это была явная натяжка, — ведь не спал же я на ступеньках, не мог он пройти мимо меня незамеченным, — но я сделал вид, что все в порядке, и спросил:

— Почему вы меня боялись, прятались от меня?

— Это не вопрос. Я полагал, вас интересуют темы профессиональщика, близкие нам обоим.

— О да, — оживился я и обрадовался этой внезапной помощи, — прежде всего скрипка. Я держал ее в руках и видел на своем должном месте клеймо мастера Страдивари. Как она к вам попала и почему в такой идеальной сохранности?

— Этот вопрос можно также оставить без ответа. Но... Во-первых, клеймо можно подделать, вам это должно быть известно. Но в данном случае вы правы: она настоящая. На вторую половину вашего вопроса не дам и четверти ответа. Думаю, вы догадываетесь.

Я не мог ума приложить, как мне догадаться, почему скрипочка нова, но кивнул головой.

— Почему вы тут живете со своим внуком, одаренным мальчиком, в этой неизвестности и так далее?

— Потому что хотим подлинного, музыки то есть...

— Музыки? А разве нельзя жить и исполнять ее там, где вам будут благодарны и где она будет служить людям, то есть будет сама собой. Ведь тут-то вы играете ее только себе и внуку, а внук тоже себе и вам...

— Пойдите, пойдите, — перебил меня дед, — мы так не договаривались. Я отвечаю на ваши вопросы, а не...

— Ладно, согласен. Кто вы? Музыкант?

— Нет, я бывший колхозник, сельский труженик.

— Так. Теперь у меня к вам такое предложение. Не могли бы вы сыграть мне что-нибудь свое, а у вас я вижу все свое, по частям и с повторами, чтобы я мог записать.

— Записать? То есть нотами что ли?

— Да, нотами.

— Нет, — твердо ответил старик, — вот это нет. Нельзя музыку губить.

— То есть как это губить?

— Ну мертвить.

— Не понимаю.

— А очень просто, — старик стал уже более разговорчивым и даже мягкие нотки проскальзывали у него в голосе, — музыка она живая и живет, когда она есть, в самой себе что ли, то есть когда звучит, а когда вы ее нотками, значками в тюрьму молчания загоните, и даже когда потом по надобности вынете на свет ~~шшш~~ тусклый залов ваших оперных, она уже не та, не та, она уже как бы после большой болезни, слабая, не значащая собой выходит.

Я очень удивился и стал смотреть на старика, ничего мне в голову не приходило, чтобы опровергнуть это дикое предположение, но я все же рискнул заметить, что иначе музыке не сохранишь, забудется и пропадет.

— Ну уж это и совсем чепуха, — рассмеялся вдруг старик, — пусть ее забывается, так оно и лучше, новая будет еще краше старой.

Удивляло в его речи сочетание деревенских и очень правильных, не рискну даже сказать городских, оборотов. Вообще, то что наш разговор состоялся, и я вот теперь сижу и беседую с этим чудачком, мне было удивительно. Однако, мы продолжали.

— Хорошо, — сказал я на его последнее возражение, — но ведь великий музыкант рождается раз в столетие, так раз в сто лет и наслаждаться? Ведь этого-то всем хочется. Моцарт, например...

— Тихо ты, тихо, — зашикал на меня старик, — ишь, разболтался. Ты об нем лучше помолчи. Неровен час услышит.

— Кто? Моцарт?

— Да помолчи ты! — прикрикнул он на меня. — Вот ведь вы какой народ городские, так и норовите на неприятность.

Я усмехнулся и понял, что старик, как верующий, напри-

мер, боится все произносить святое Моцартово имя. Тем временем он вдруг внезапно исчез, и я понял, что аудиенция окончена.

Что мне оставалось делать? Вернулся в дом и стал дожидаться женщины и мальчика, чтобы еще раз попытаться у них выспросить поподробнее о старике. Мальчик пришел к обеду с синяком под глазом и объяснил, что Борька Вихров ему снежком закатал, а он ему сдачи дал такой, что теперь тот в больнице. В больнице? Да ну? Что ж ты ему сделал? Щеку свернул, она у него теперь болтается, вправлять будут. А, успокоился я, это не так страшно. А маму не видел? Да где? Она же на работе и придет еще не скоро. Слушай, а дед-то твой, оказывается, говорить умеет. Вот только мы с ним разговор имели, совсем даже приятный разговор. С дедом? Да, с дедом, а что? Заливаете. Ну и выражения у тебя. Не заливаю. И вот еще что. Ты бы мог скрипку как-нибудь у него утащить на целый день, чтобы он не знал, надо ее бы в город отвезти, показать людям. Не буду. После этих слов он схватил шапку и был таков.

Я лежал, почитал, а потом пришла женщина, и я стал к ней ласков и внимателен. Она сразу почувля, что мне от нее что-то надо, и спросила. Когда я ей рассказал о беседе со стариком, она долго смеялась, а потом сказала, что он это любит, поболтать. Я удивился. Ведь он молчун, ты говорила. Да и мальчик мне всегда говорил, что дед ни с кем никогда не разговаривает. Ну а с Серегой-то он и вправду такую комедию ломает. Зачем? Воспитывает, своего подобия в нем хочет, да Серега-то земной, по его, больно, не может он такого, чтобы вовсе как дед легким и незаметным быть, а ведь это у них в роду всегда за самое главное почиталось. Как это легким, незаметным...

Я так подпрыгнул в этот момент, а она — хоть бы что, рассмеялась, — ведь прямо предо мной на лавке восседал старец и кивал головой в знак одобрения невесткиных слов. Опять как из-под земли взялся.

— Он самый я и есть, — подтвердил старик, — мы люди

странные. Испокон веку.

— Да уж и вправду, — подтвердил я, — а скажите, как вы это делаете? Исчезаете внезапно, появляетесь? . . .

— Ты человек, вижу, с рассудком, — сказал дед, — ты мне нравишься, вот честное слово, есть в тебе это самое, понимаешь что к чему. Тебе могу....

.. — Перестань, — остановила его женщина, — что ты тут каждому встречному басни рассказываешь.

— Он ничего, ему можно, — странно взмахнул он рукой и опять пропал.

Женщина рассмеялась и замахала руками:

— Ничего, не пугайтесь, эта комедия запланированная. И впрямь, через минуту, как ни в чем не бывало, в дверь вошел старик и поздоровался.

— Вот, понимаешь, едри ее в корень, забыл сразу-то с собой взять, она у меня вместо королевы и секретаря, — говорил он, разворачивая из тряпицы, обрывка светлой скатерти с кистями, скрипку. — Вот она, дорогой товарищ, интересовались, внука украсть подговаривали, ведь я все знаю, нате, смотрите..

.. — Видел я уже, — сказал я, беря ее в руки, которые задрожали, когда увидел знакомый знак Страдивари.

— Да скажите же вы наконец, — на высокой ноте воззвал я к собеседнику, — откуда она у вас такая целехонькая?

.. — Ну, милоч, слушай, — старик посмотрел на Наташу и глазами указал на дверь.

.. — Спятил, старый, пробурчала она и вышла, плотно прикрыв дверь. Видно, авторитет деда тут подавляющий. . .

И вот когда она уходила, — словно плыла, — двигались только плечи и спина, я вспомнил вдруг оставленную жену и ее походку и себя, такого совсем перед ней беззащитного, когда стоял рядом с ней на кухне во время обычных перебранок; она, некогда тонкая и вертлявая, теперь являла взору монументальный зад, широкую спину и плечи, и просто никак не знаешь, как к нему, этому телу, подступить, потому что чувствуешь, что у него нет разума, все оно ратифицировано

высокой инстанцией, как договор о неприменении, — как ума, так и мышц, и так ты фатально беспомощен перед этим, что никак в толк не возьмешь, с каких дел вляпал тебя в это создатель... Ведь когда имеешь идею-одно, а когда ее — в о — д л о т и ш ь... Да, идея, нечто бестелесно-нематериальное, дым в голове, знак сознания, призрачная модель надежд наших и еще Бог знает что. И когда она в тебе есть, тут и есть твое счастье, тут и есть твой шанс быть вопреки ратификации, говорящей во времени одно и потом скромно в пыли молчащей до новой ратификации, начисто ей противоположной, но ничуть ей не вредной, — отнюдь, — она столь же мудро пылится на том же ухоженном месте.

Евлогий, таким странным именем звали старика, мои эти мысли подметил сходу и тут же посмеялся:

— Да, любезный, правда твоя, от этих баб не токмо разума, а и чувства доброго не бывает. Оно и случается, это так, да только пока ищешь, да ратифицируешь, как ты выражился, все вроде и верно протекает, ну а потом... Мы всегда забываем, что баба — часть природы, поэтому к ней и относиться следует соответственно, — ведь глупо сетовать на склонную к переменам зыбкость облаков, холод зимы, внезапность дождя, колдчество эли или на пыль в жару... Зато тепло солнца, ласка воды... Время стареет, суставы у него, как некоторые полагают, не вывихиваются, скорей у него ~~у него~~ ляжки дрябнут, как в той же пьесе у Полония, оно умирать собралось, а ее-то нет как нет, просто не докличешься, это я уже о себе, не о бабах. Да ну их... — старик стал заговариваться что ли и головой трясти стал чаще, и заглядывал по сторонам с неким выражением испуга.

Я внимательно разглядывал его. Казалось, ему не справиться со своей старческой немощью, вот сейчас замолчит или исчезнет, как всегда. Но Евлогий ухватился за край стола и улыбнулся. Новость. Однако, слушаем:

— Так вот, любезный, я, пожалуй, и продолжу. Точнее, начну. И с самого главного. Случалось ли тебе слышать мнение о том, что вселенная наша не что иное суть, как изъясн в

блистательно совершенной системе небытия?

Я:

— Гегелево ничто равно бытию.

Евлогий:

— А, все есть одно, все из всего и все в синтезе.

Не то. Можно предположить и иначе: возможно ли в силах человеческих преодолеть этот изъян, быть в небытии, казаться сущим в абсолютной чистоте невидимого?

Я:

— У вас все, кажется, наоборот: и траву не мнете, и следов на снегу не оставляете.

Евлогий:

— Наоборот и есть. "О море, вертикальный фолиант с единственной страницей наизнанку!" Очень точные стихи. Оно и вправду вертикально стоит в глубине перспективы даже когда в безветрие предстает взгляду горизонтальным. А трава, снег? Что снег, тут никакого волшебства нет: тебе так хотелось — видеть невидимое, а зримое не замечать. Если нет пределов у возможного, то у невозможного откуда им и взяться? Жажда абсолютного жаждой и остается, попытки утоления ее бесконечностью еще пущую охоту возбуждают, ибо, сам посуди, волюнтаризм цифры, близкий к сумасшествию, ковыляющей упрямо к беспредельному /но ведь концу, завершению!/ дурен сам по себе, о чем и господин Гегель повествует, ему милее спираль, змея, кусающая себя за хвост /это к слову/, и тут никакой цифре жажду не утолить, нет, нужны другие напитки!

Я:

— Музыка?

Евлогий:

— Далеко и близко. Музыка предстает нам сама собой очень редко, почти никогда мы не слышим хорошенько и точно в соответствии с партитурой создателя возможные вариации природы, а уж запредельного, тайного, за гранью лежащего — не дано. Только если хорошо очень приглядеться и себя не замечать. О сочиненной музыке я и говорить не хочу. Тут такое баловство, такое великое вранье о мире, такое принижение и

лесть человеку, что упаси создатель...

Я:

— Но Моцарт...

Евлогий:

— Тихо. Это случай особый. И Шенберг тоже. Две крайности, два полюса, они как обруч сжимают сферу сочиненной музыки, ни в себя никого не впуская изнутри, ни через себя наружу.

Я:

— Так вы считаете, что между этими крайностями, скажем, темного и светлого, создателя и его лукавого врага, между... тем и этим и обретается вся сочиненная музыка? Неужели никому не дано прорваться? Разве древние, о музыке которых ничего не знаем, тоже сидят между тем и этим? И разве названный Шенберг — граница?

— Ах, — промямлил уже без прежнего энтузиазма старик, — все не о том. Бог с ними, с сочинителями. И Бетховен крепок, недосыгаем и безграничен. По-своему, в пределах доступного... Не об этом, ты меня сбил.

" К чему музыканты,

когда отправляешься в путь?

В безмолвии горном

нездешняя музыка есть."

— А, — сказал я, — китайская лирика, даосизм, молчание. Но сами-то вы и на скрипочке и человека-оркестра изображаете, — моя насмешка меня самого злила и подзуживала, — да и мальчишку вы игре обучаете, а не безмолвию.

— Прежде великого умения молчать следует научиться хорошо говорить. Тот, кто достиг высшего совершенства в звуке, может и помолчать.

— А тот, кто достиг высшего совершенства не следит на снегу, можешь и не ходить, — моя насмешка не покидала меня.

— Охота вам... — он не закончил, потому что за дверью кто-то стал скрестись и пыхтеть.

Дед встал, подошел неторопливо к двери и впустил большого темного пса, мокрого от снега. Тот быстро лизнул старику

руку и улегся у его ног.

— Откуда он взялся? Раньше я тут собак не замечал.

— Не он, а она. Это сука. Она тут всегда живет, только вам заметить было неохота.

Не в сказку ли я попал, подумал я, не оборотень ли, уж не Наташа ли сия сука? Вслух я ничего не сказал. Проползать разговор мне уже не хотелось. Дед Евлогий, спутуясь, сидел на лавке и, кажется, дремал. Собака, свернувшись, мирно спала у его ног. Я тихонько вышел.

Когда я пришел в соседний дом к Наташе, она весело накрывала на стол, выставляя из печки чугунок со щами, и попросила меня порезать хлеб и огурцы. Я вышел в сени, набрал полную миску огурцов, услышал на чердаке скрипичные пассажи внука, но прежнего волнения в себе не обнаружил. Во мне поселилась тихая грусть и вместе с ней я ощутил любовь к старику, Сереже, Наташе, таким странным и таким одиноким. Я и себя бы причислил к ним, если бы не сторонняя роль наблюдателя и гостя. Я не принадлежал им, я не исповедывал их образа жизни и веры, был всего лишь посвященным. И я чувствовал, что необходим им так же, как и они мне, потому что человек не может быть совершенно одинок в своих мыслях и поступках, ему обязательно нужен посвященный, поверенный в его дела.

.. Мы говорим о неизбежностях и как таковых и припуманных, найденных вщопыхах на дорогах судьбы или задворках памяти; хотя, если вдуматься, никакие превратности не избавят нас от блужданий по отмеренному отрезку времени, каким бы он ни был, каким ни казался самому себе — кратким, как миг или размером в вечность, — опять же, что вечность для тебя или вообще смертного? А для нее человек что значат? Кабы она хоть какие ни есть мозги имела... Я это к тому, что, на наш взгляд, время само по себе к человеку не имеет никакого отношения, это он сам постоянно обращает свой взор на смену времен и на собственное отношение к отражению в зеркале, имеющее способности к перевоплощению...

А не есть ли время — способность материи к перевоплощению, или, все же оно вообще не имеет никакого отношения к

миру вещей, ибо настоящее, "теперь", одной ногой сидит уже в прошлом, а другой попирает несуществующее пока завтра, так что это либо чистая длительность или явное стацование, хотя и тут — вечность, пребывающая во времени, отнюдь не, изменяется и не страдает переменами, стало быть, если над вечностью время не властно, то, вероятно, сама вечность есть источник времени и сопутствующих ему знаков?

Так мы и размышляли, сидя за столом и нахрустывая огурчики. Наташа наливала нам уже шей, и я налил нам еще до ^р одной, водка лилась в горло прямо замечательно, да ведь оно зимой-то, с морозу, так и быть должно. Старик исправно опорожничивал рюмку и не пьянел. Видно, мы уже давно беседуем, потому что Наташа делает такое серьезное умное лицо и приговаривает: а что время? время как время...

Тут я слышу словно издалека /неужели трех рюмок хватило?/ свой голос, точнее, припоминаю его, со всеми интонациями и паузами:..

— Прав Платон: оно есть подвижный образ вечности, а вечность есть ^{по}неподвижный образ времени...

И откуда-то издалека шамкающее бормотание:

.. — Все есть во всем, если хочешь. Разве символ "теперь" не однозначен для разных времен? А если так, подумай, почему нова скрипка и снег чист под моими ногами.

— Нет, — говорю, — старик, не буду думать. И так знаю: я тебя придумал. И тебя, и Наташу, и Сережу со скрипкой, и даже собаку. Ты хочешь меня заставить поверить, что миг одинаков всегда и везде и может сложиться благоприятная длительность для твоих явлений и шуток со скрипкой Страдивари... Нет, ты вымысел...

.. Не знаю, долго ли длился наш разговор, не помню сейчас. Была темная ночь с метелью, и я едва добрался до своего дома, может и от водки. Проснулся по обыкновению поздно, да и воскресенье было.

Вокруг дома бродили люди в полушубках с теодолитом и рейкой. Понял сразу, что ~~шпиш~~жизнь мое тут заканчивается, встал и пошел завтракать к Наташе. Дома ее почему-то не было,

хотя печь была истоплена и я, обжигаясь, налил в творог из чугунка топленого молока. Так я позавтракал. И решил съездить повидать дочку. Возил ее в зоопарк и помил-пепсиколой. Она щебетала и навевала отцовские чувства. Глаза слезились.

Когда вернулся, увидел на месте домов холм из мусора и снега, и на них гордым истуканом возвышался бульдозер. Узнал, что сегодня был у строителей воскресник. На этом месте, объяснили мне, будет новый дом. Лучше бы старый, подумал я, но ничего не сказал.

Строительную площадку потом огородили, навозили плит и кирпичей, но заморозили, и много лет я приходил сюда и смотрел, как она зарастает травой, а потом и кустарником. Ну и хорошо, думалось, ну и хорошо, а душа крепилась, готовая рассыпаться в прах от первых же звуков стариковой скрипки.

Колпино, сентябрь-декабрь 1982 г.